

Глава четвертая

Как Лесков учился праздновать

Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2021 год

21 июня 1841 года по Орлу пронесся масштабный «истребительный» пожар. Почти все местное строительство велось из дерева, так что эпитет Лескова как нельзя более соответствовал действительности: сгорели многие общественные здания, храмы, лавки и лабазы, но больше всего пострадал жилой сектор. Огонь уничтожил целые кварталы в той части, которая сегодня очерчена границами Советского района. Обугленные пепелища, по которым меж черных головешек неприкаянно скитались погорельцы в поисках хоть чего-нибудь уцелевшего, да яростный стук топоров со всех сторон — таковы были первые впечатления Лескова после длительной разлуки с городом. Искры орловских пожаров то и дело потом будут

вспыхивать в его рассказах. Елецкие купцы в «Грабеже» назовут Орёл «не то город, не то пожарище», а о жителях обидно пошутят — мол, «копчушки в коробке». Но Лесков и беду на добрую славу обратил: его знаменитое высказывание об Орле, давшем «столько прославленных русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город», начинается со слов «в Орле, в этом странном прогорелом городе». Писатель подчеркивал «огромные заслуги своей земли перед своею родиной», современники понимают и поддерживают его «прямую гордость своим Орлом»: каждый день родного города Лескова начинается с выражения «Орёл — город странный», которое так полюбили создатели телевизионной программы «Доброе утро, Орёл».

В 1841 году в число погорельцев угодил и инспектор орловской губернской гимназии с замечательно подходящей к его должности фамилией — Азбукин. Дирекция училищ временно разместила отца троих маленьких детей Петра Андреевича Азбукина с семьей на казенной квартире, но больше ничем помочь не смогла; только спустя год удалось добиться частичного возмещения убытков Азбукина в размере 600 рублей. Не удивительно, что после пожара инспектор перманентно пребывал в настроении «за что?!». Скорее по долгу службы, чем по зову сердца, явился он в подконтрольное ему учебное заведение в сентябре злополучного года. И обрел бессмертие: среди учеников, поступивших в первый класс, оказался будущий великий русский писатель Николай Семёнович Лесков, запечатлевший имя и фигуру Азбукина в веках. Правда, далеко не в лестном для инспектора виде.

Здание Орловской гимназии сохранилось; если кто-нибудь из читателей пожелает зайти посмотреть, представить, как себя здесь ощущали ученики, в частности Николай Лесков, — добро пожаловать в Воскресенский переулок, где ныне размещается юридический факультет Орловского государственного университета. Это и есть бывшая Орловская губернская гимназия, располагавшаяся здесь еще с XVIII века. Воскресенский переулок тогда назывался Воскресенской улицей — в честь возводящейся в то время неподалеку церкви Воскресения Христова (сегодня

на ее месте торгует косметикой, чулками-носками и бытовой химией магазин «Бежин луг»). Набережная Дубровинского перестраивалась за двести лет не однажды, однако вблизи 27-й школы еще можно уловить дух старины. Как и полтора века назад, с веселым смехом и криками несутся зимой на санках дети с берега вниз, к Оке, да круглый год вдоль почерневших, дубленых вековыми снегами и дождями оград рыщет собачье племя. К счастью, сегодня собак здесь меньше, чем в былые времена, когда товарищ Лескова, П. И. Якушкин, жаловался, что орловские псы «стаями ходят решительно по всем улицам». Местные жители уверяли Якушкина, что собачки, мол, смиренные, не кусаются, а вот прохожие то и дело прибегали в часть «уверять в противном». Якушкин на собачьи зубы не попал, зато, по его заявлению, пострадал морально: «Все-таки как-то не совсем приятно, когда на вас накидываются десять-пятнадцать влюбленных собак».

«Тяжелую дверь в свое “Училище” Николаша Лесков впервые открыл летом 1841 года. Вместе с ним в I классе оказалось тогда еще десятка два маленьких гимназистов. Как все первоклассники на свете, начиная учебу, мальчишки были уверены, что каждый из них будет учиться хорошо, а вести себя примерно», — так начинается повествование о «лесковских университетах» Е. Н. Ашихмина, автор многих работ, посвященных Лескову, в том числе очень важной и ценной для нас статьи «Лесков в гимназии: новые факты биографии». Сам же он писал об «открывании дверей» гораздо резче и горше: «Я учился в Орловской губернской гимназии — в первом классе. Это было в начале сороковых годов. Мне тогда только исполнилось десять лет. Родители мои были небогатые дворяне и имели свою деревушку в Кромском уезде. Называлась деревушка Панин Хутор. Отец с матерью и маленькие братья с сестрами там и жили, а меня привезли в августе в Орёл и сдали в гимназию». За право учения следовало платить огромную, по тогдашним меркам, сумму — 600 рублей ассигнациями, или около 171 рубля серебром в год. По позднейшим документальным источникам, 600 рублей нужно было платить только за гимназистов-воспитанников благородного пансиона Орловской гимназии (ОГВ, 1840, 28 июня,

№ 26, с. 465). В 1839/40 учебном году, за два года до поступления Лескова в гимназию, их было 38 человек при 179 вольноприходящих (Прибавление к ОГВ, 1840, № 52, с. 523). Лесков принадлежал к последним. В рассказе «Пугало» мальчика, наделенного автобиографическими чертами Лескова, родители везут «в пансион» (Лесков, т. VI).

Вспоминать школьные годы Лесков не любил. И имел на то причины: Орловская гимназия тогда была не тем местом, где юные ученики в просторных классах, украшенных картинами мастеров или хотя бы их копиями, с благоговением внимают вдохновенно вещающему преподавателю. Скорее совсем наоборот: «Классные комнаты были до того тесны, что учителя затруднялись найти ученику, отвечающему урок, такое место, до которого бы не доходил подсказывающий шепот товарищей, духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом, — вспоминал Лесков, назвав автобиографическую заметку, посвященную школьным годам, с печальной иронией «Как я учился праздновать». — Между тем наверху было несколько свободных комнат и прекрасная зала, в которую нас впускали раз в год, в день торжественного акта; остальные 364 дня в году двери залы были заставлены какими-то рогатками...»

Ежечасный быт гимназии изобиловал страшноватыми, порой драматичными реалиями: «В Орловской гимназии лет 12 тому назад было только одно отхожее место, устроенное на черном дворе, за инспекторской кухней, и что в нем было только две лавки с четырьмя сиденьями, к которым во время 1/4-часовой перемены толпились ученики всех семи классов, я вспоминаю множество забавно грязных и грустно смешных сцен, поводом к которым было ожидание вакантного места. Смешно сказать, а мне сильно сдается, что нужное место Орловской гимназии имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспитанников. По крайней мере, там мы поневоле приучались пользоваться неправомерием, кулачным правом, равнодушием к нужде ближнего и даже взяткою за место. Известно, что дети всегда стараются подражать во всем старшим».

Зато с жильем вышло удачно: заокская сторона Орла от пожара не пострадала, и Лескова поселили «за безводной рекой

Перестанкою», «во 2-й части, так ранее назывался нынешний Железнодорожный район», — сообщает Ашихмина, а Лесков уточняет: «Я был помещен на квартире у некоей Аксиньи Матвеевны, которой за весь мой пансион платили 15 р. ассигнациями (4 р. 30 коп.) в месяц. За что я имел комнату с двумя окнами на Оку, обед, ужин, чай и прислугу».

Район Перестанки-Пересыханки, вопреки двум мрачно «говорящим» названиям до сих пор весело устремляющейся по трубе в Оку, — царство кошек. Идешь по здешним улицам и видишь: вечные сфинксы, словно одни и те же с древних времен, сидят они на завалинках, щурясь на солнечном свете летом и распушая шерсть зимой. «Местные кошки, как правило, сомневаются в ваших добрых намерениях и от греха подалее залезают куда-нибудь на крышу, — выкладывает свои наблюдения не раз, конечно, бывавшая здесь Елена Ашихмина. — Особенно хорош показался мне экземпляр с улицы Фомина, в лесковские времена называвшейся Капитанской: тут в добротных домах с верандами (низ каменный — верх деревянный) обитали капитаны орловского торгового флота. Наверное, и у них были подобные васьки — закалившиеся в уличных боях, с обкусанными ушами и презрительной мордой. А еще на улице Капитанской, когда здесь обитал гимназист Лесков, имелись куры, гуси и утки. В Орле, кроме того, всегда любили и водили голубей».

Квартир в гимназическом периоде жизни Лескова случилось две. Следующее жилье было снято перед началом второго или третьего учебного года. Оно находилось недалеко от первого пристанища, но и оттуда и оттуда хорошо были слышны колокольные перезвоны: на правом берегу зачинали деревянная Покровская и каменная Преображенская церкви, на левом — Богоявленская и Воскресенская, их подхватывали у Николы Рыбного. «Рыбное» прозвание — из-за близости рыбных лавок центрального рынка. Первое старинное деревянное здание храма Николы в Рыбных Рядах сгорело в 1637 году, но в конце XVII-начале XVIII веков он был возрожден в кирпиче, а в 1745-м орловский купец Дмитрий Коченов построил рядышком Знаменскую церковь. К концу XVIII века оба храма обветшали,

колокольня Никольского угрожающе накренилась, и генерал-губернатор князь Н. В. Репнин распорядился разобрать ее, «не ожидая, чтоб они сами собой развалились, со вредом, которого опасаться есть правильная причина». В 1797 году на месте Никольского и Знаменского храмов был выстроен один великолепный каменный трехпрестольный храм: главный престол освятили во имя Святого Николая Чудотворца, а приделы — в честь Казанской иконы Божией Матери и Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна¹. Его колокола превосходили всех в музыкальной композиции, под которую ежеутренне просыпался гимназист Лесков. Почти у самого дома мелко лепетали колокольные язычки Никитской церкви, с Егорьевской горки доносился мощный бой «корон» Георгиевского (Сретенского) храма. При Иване Грозном он был сложен из дуба наподобие обыкновенной избы с приподнятой крышей, но сгорел в ходе войны с литовцами. В 1726–1732 годах XVIII века старанием секретаря Орловской провинции Дмитрия Леонтьева-Оловеникова было возведено каменное здание, за оградой коего тогда располагалось старейшее воинское кладбище Орла. С горы Сретенскому храму вторили по праздникам большие благовестники Введенского женского монастыря². «Вообразите, какую музыку слушали орловские жители утром и вечером каждого дня! В тишине тогдашнего Орла звуки разлетались далеко вокруг», —

¹ В 1930-е гг. этот храм был разрушен. До 1960-х на центральном рынке держалась только часовня. Сегодня на «месте святем» окончательно восторжествовали торговцы, а переулок, где прежде высился храм святителя Николая, называется Рыночным.

² Монастырь сгорел в 1843 г., и только через много лет усилиями насельниц и благодетелей был восстановлен к началу двадцатого века. Прошло всего двадцать с небольшим лет — и монастырь снова разрушен, теперь большевиками. В 1993 г. по благословению Высокопреосвященного Паисия, Архиепископа Орловского и Ливенского, монастырь начал восстанавливаться. Тихвинская надвратная церковь отремонтирована и освящена 22 декабря 1994 г. Первый постриг совершен 27 мая 1995 г.

восхищается Елена Ашихмина, и мы вместе с нею.³ Не зря впоследствии большинство орловских храмов, без которых была немыслима будничная и праздничная жизнь Орла, органично вошли в творения Лескова: он знал все орловские церкви. В рассказе «Грабеж» увековечен Петропавловский храм, Богоявленская, Георгиевская, Крестительская кладбищенская, Покровская, Никольская церкви, Введенский женский монастырь; в «Мелочах архиерейской жизни» — Никитская (Ахтырская) церковь и Успенский храм и т. д.

В общем, славное местечко. И до места учебы близко: перекрестись — «Господи, помоги», — чтоб от злых псов охраниться, да и топай себе по берегу Оки, через деревянный мост. Но не заглядывайся на торговые ряды, иди скоро, устремленно!

И вот тебе и гимназия.

Хозяйкой второй квартиры была повивальная бабка Порфирьевна. «Бабка» — не старуха, а часть названия профессии. На самом деле Порфирьевну можно было назвать женщиной бальзаковского возраста, который, как известно, составляет период от тридцати пяти до сорока лет: «Бабушке было в то время лет под сорок», — сообщает Николай Семёнович. У Порфирьевны имелся сын-гимназист, постарше Лескова — он посещал третий класс. Помогал он Николаше делать уроки или нет — неизвестно. По забаве судьбы мальчика звали Никишенька, по отчеству он был Никитьевич и жил с матерью-«бабкой» «в собственном доме у Никития», то есть, рядом с Ахтынской (Никитской) церковью — когда-то кладбищенской, но в 1786 году кладбище перенесли на другое место, и она стала приходской. У Никития служил тот самый «рыжий, сухой, что есть хреновый корень» знаменитый дьякон,

³ Интересный факт: совсем рядом от дома Порфирьевны в 1812 году проживало бежавшее от Наполеона семейство композитора Михаила Глинки. Часто маленький Глинка, стоя во дворе, подолгу вслушивался в колокольный звон, а затем дома воспроизводил услышанные мелодии на медных тазах, колотя по ним ложками. Ашихмина предполагает, что и «такой особенный мальчик, как Николаша Лесков, не оставался равнодушен к подобным звукам».

славившийся «особой памятною завойкой» в исполнении «Вечной памяти», которого Лесков заставил соревноваться в церковном пении с дьяконом Борисоглебской церкви в «Грабеже»:

«Прежде Павел Мироныч посредине комнаты стал и показал, что главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голос у него, я вам говорил, пристрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.

Даже гостинник очнулся и говорит:

— Вам бы самому и первым дьяконом быть.

— Мало ли что! — отвечает Павел Мироныч. — Мне, при моем капитале, и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать.

— Этого кто же не любит!

И сейчас после того, как Павел Мироныч прокричал, начали себя показывать дьякона: сначала один, а потом другой одно и то же самое возглашать. Богоявленский дьякон был черный и мягкий, весь как на вате стеган, а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень, и бородка маленька смычком; а как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сначала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчал «Достойно есть» и потом «Прободи, владыко» и «Пожри, владыко», а потом это же самое сделали оба дьякона. У рыжего ворчок вышел лучше. В чтении Павел Мироныч с такого с низа взял, что ниже самого низкого, как будто издали ветром наносит: «Во время онно». А потом начал выходить все выше да выше и наконец сделал такое восклицание, что стекла зазвенели. И дьякона вровень с ним не отставали...»

Родители спокойно спали в своем Кромском уезде: им казалось, что они оставили сына в надежных руках. Акушерка рано овдовела, но никто не посмел бы бросить камень в ее огород: она вела безупречный образ жизни, была рассудительна, аккуратна. Во младенчестве ее крестили Антонидой, однако все звали ее «бабушка Порфирьевна». Особа эта так и просилась в ряды будущих лесковских праведников со странностями: «По своему повивальному делу славилась она во всем орловском купечестве, и платили

ей по-тогдашнему дорого — ни за что не меньше золотого»: золотую монету клали на добротный отрез темной платевой материи и таким макаром с благодарностью преподносили повитухе. «Не меньше золотого» она брала только с богатых, а «если бедная женщина к ней обратится, то она сходит и так, даром, бесплатно ей поможет, но уж платы иначе как золотом не возьмет». Ее «золотые амбиции» уважали, и она заслуживала уважения: работу делала на совесть, не была вредной или жадной. «Еда нам всегда была отличная, потому что у бабушки всего было много, — с явной улыбкой вспоминал Лесков юношескую жадность к еде, свойственную здоровому растущему организму. — (...) ей приносили чаю, сахару и кофе и варенья в разные дни — в именины ее и в рождение, в «причащение» и в несрочные дни, после каждого повоя, «на кашницу». «На кашницу» приносилось всего, что где случалось, — и вареного, и печеного, и жареного». А трижды в год даров насылали такое множество, что их хватало надолго. Дары — «богатые, средственные или бедные» — всегда были «усердными» и непременно «в трех видах»: соответственно поводам. К Рождеству присылалась «живность» — разная битая птица: куры, гуси, утки и индейки. К масленице — огромнейшие, длинной формы пшеничные хлебы «с уборцами» и стегно малосольной рыбы, преимущественно севрюжины. Хлебы были особенные — так называемые «прощеные пироги» или «прощеные пряники». «Вкусу в них не полагалось решительно никакого, и они во весь пост составляли для нас с Никишею сущее наказание, потому что из них насушивали сухари и выдавали их нам вместо свежих булок, которые зато на все это время отменялись, — вспоминал Лесков себя в роли маленького постояльца Порфирьевны. — К Пасхе же бабушке присылали в дар мучное и молочное: масло, яйца, творог, сметану и крупичатую муку на куличи». Из всего этого Порфирьевна не жалела сладкого куска ни для собственного сыночка, ни для «мальчика-постояльчика». Сама же, бывавшая «у всех как своя», за собственным столом «конфузилась»: «ничего этого не кушала, потому что была «человек недомашний», дома бывала редко и кратко: чуть присядет — ан, снова зовут: “Баушка, скорей бежи, купчиха Кулабухова или мещанка Налимова повою просит!”» «Есть у себя дома она

решительно не любила, — с теплотой описывал странности «бабушки» Лесков, — и все изобилие съестных даров истребляли мы с Никишенькой да «служанка» — старушка Игнатьевна, которая совсем заплыла жиром».

Низкий поклон Порфирьевне, доброй душе: благодаря ей маленький Лесков, переживавший в гимназии немало тяжких часов, «дома на квартире» утешался уютным покоем и сытной вкусной едой, забывая школьные «забавно грязные и грустно смешные сцены», обиды, неудачи и свист розог.

Преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств Е.Н. Ашихмина встает на защиту сограждан, живших в девятнадцатом веке, и это делает ей честь как истинной патриотке родного города: «В среде литературоведов давно сложилось мнение, что дореволюционная Орловская гимназия являла собой образец косного и схоластического просвещения. Советская историческая наука способствовала укреплению такого взгляда, ибо имела негативное представление о дореволюционном образовании вообще. На самом деле в этом случае мы имеем дело с ошибочным, поверхностным взглядом на ведение школьного дела в России в XIX–начале XX вв. В настоящее время известно, насколько грамотными оказывались выпускники подобных учебных заведений, каким широким оказывался их кругозор, а во множестве случаев и возможный научный потенциал. Орловская гимназия середины XIX века также представляла собой учреждение образования, дающее в достаточной степени качественные знания. Это неоднократно фиксировалось проверяющими вначале Московского, а затем и Харьковского учебного округа, в подчинении которых оно последовательно находилось. Лучшие педагоги при этом поощрялись». Автор статьи восторгается служителями «храма науки», в который «посчастливилось» попасть Николаше Лескову: «Орловская гимназия в те времена являла собой средоточие губернской науки. Образование в ту пору считалось ценностью само по себе. Его носители, люди, как правило, с университетским образованием, знали цену и себе, и просвещению. У «руля» гимназии стояли директор гимназии Александр Яковлевич Кронеберг и инспектор гимназии Петр Андреевич Азбукин». И действительно, личность Азбукина была неоднозначной: он с 1838 года являлся главным редактором

«Орловских губернских ведомостей», с 1836-го — членом-корреспондентом туристического отделения Совета Министров внутренних дел. Азбукин был первым орловским библиографом, одним из первых археологов и первым музейным работником, подготовившим «выставку произведений и музеев» в 1836-м. В 1845 году он стал членом Русского географического общества первого состава. За успехи в образовании и общественной работе (в 1836 году он составил и издал первое «Статистическое описание губернии») инспектор Орловской губернской гимназии был награжден двумя бриллиантовыми перстнями; а уж разных благодарностей, грамот и «признательностей» у него было не счесть. Но пожар «много к украшенью» послужил, наверное, одной только Москве. Дом Азбукина сгорел, бедствия и утраты не улучшили и без того нелегкий нрав инспектора Орловской гимназии — в глазах детей Петр Андреевич навсегда остался жестоким тираном, «официальной карающей дланью». Нелестные характеристики в воспоминаниях не только будущего великого русского писателя, но и других учеников, среди коих впоследствии обнаружилось немало известных людей, директор Кронеберг, инспектор Азбукин и иже с ними получили заслуженно. А. Н. Лесков по рассказам отца обрисовал далеко не благостную картину их правления: «Учат в гимназии как попало, но бьют исправно». Навестив родные края спустя много лет, Лесков по случаю пообщался с неким четырнадцатилетним землячком по имени Миша (*фамилия осталась неизвестной — Н. Л.*), учеником «родной» школы, и удовлетворенно отметил, что тот «училища не боится, как мы его боялись. Рассказывает, что у них уж не бьют учеников, как бывало нас все, от Петра Андреевича Азбукина, нашего инспектора, до его наперсника сторожа Леонова, которого Петр Андреевич всегда держал при себе и, приглашая ученика «в канцелярию», говорил обыкновенно: «Пойдем; мы с Леоновым восписуем тя». Это ужасающее «восписуем» Лесков потом вставил в «Житие одной бабы», где фигурируют директор с «тевтонским клювом» — вылитый крючконосый Александр Яковлевич Кронеберг, и еще один гимназический сторож — Кухтин, вошедший в стихотворный эпос училища с как будто приросшими к его рукам навечно розгами:

За ним, как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин.

Розги — многозначимый и часто встречающийся символ в творчестве Лескова. Во-первых, конечно, постоянные упоминания о телесных наказаниях в гимназии, сюда же — отрывок из «Привидения в инженерном замке» об озорнике, появлявшемся по ночам в окнах корпуса закутанным в белую простыню, изображавшем тень убиенного императора Павла: «Наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастье испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю». Во-вторых, незабываемое Лесковым всю жизнь пресловутое «колотье» Марьи Петровны как излюбленный метод воспитания детей, к этому пункту приложим уже упомянутый случай с маленьким Орестом Ватажковым, которому ангел, по злой шутке сумасшедшего дядюшки, дарит пучок розог на Рождество. Сюда же — цитата из глубокой, многоплановой диссертации доктора филологических наук из Санкт-Петербурга Татьяны Борисовны Ильинской: «Известные Лескову по трудам Мельникова-Печерского факты о самобичеваниях хлыстов, возможно, связаны с проходящим через всю повесть мотивом сечения». В тему и уже процитированные лесковские воспоминания о засеченной на Ильинке белотелой молодой девушке, убившей свекра, и жестокие «запарывания» шпицрутенами по приказу орловского губернатора П. И. Трубецкого на той же Ильинской площади несчастных, подозревавшихся в поджогах, и многое другое.

«Столь прогрессивные методы давали дерзостные плоды»: кое-кто из маленьких учеников гимназии, в ступоре отчаяния

утратив страх, строчили письма учителям, угрожая их поджечь, если те не прекратят придирки и «сечку». Писали Кронебергу и учителю немецкого Функендорфу — тому самому, которого припечатал клеймом позора Лесков: «В числе наших учителей был один, Вас. Ал. Функендорф⁴, который часто приходил в пьяном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он ребром линейки отсек ухо, как рабу некоему Малху, и это никого не удивляло и не возмущало»⁵.

И это — «носитель с университетским образованием, знающий цену и себе, и просвещению»? «В николаевское время били не только в учебных заведениях: это был стиль жизни того времени, — оправдывает Функендорфа Ашихмина. — Император Николай I (Павлович) за него и получил свое прозвище — “Палкин”». Подобные оправдания вряд ли уместны. За провинности детей наказывать можно, а иногда, наверное, даже нужно, избивать — нельзя. А уж отрубать им части тела — тем более. А. Н. Лесков справедливо ищет причины того, что его отец в детстве, едва миновала отупляющая оторопь от порядков, царящих в гимназии, стал прогуливать уроки и толком не доучился, «в равнодушии, если не отвращении, мальчика с пытливой мыслью и живым темпераментом к мертвенно-схоластической «учености» этой школы, в грубости и бездушии многих насадителей этой «учености» с тевтонскими клювами, в сопутствии жестоко «восписующих» сторожей.

В отмщение детским обидам кое-кого из учителей Лесков, став писателем, просто обшутил: «В Орловской гимназии во время моего детства был инспектор из иностранцев Шопин,

⁴В.А. Функендорф — коллежский ассессор, младший учитель французского, а затем немецкого языка в Орловской гимназии в 1843 г. Его формулярный список обнаружен Р.М. Алексиной. ГАОО, ф. 78, ед. хр. 738.

⁵ Малх — персонаж Нового Завета, раб первосвященника, участвовавший в аресте Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Иоанн Богослов сообщает, что апостол Петр отсек ему ухо мечом.

и по дворянству эта фамилия всем совершенно не нравилась до того, что даже кто-то куда-то писал об этом, а со стороны господ офицеров квартировавшего тогда в Орле Елисаветградского гусарского полка «были вольности», но добрые орловские мужики находили эту фамилию прекрасной.

— Простая, — говорили, — и сразу вспомнишь.

Слово иностранное, но пришлось по вкусу и по сердцу».

Других высмеял довольно едко: «Саренке на вид за пятьдесят лет; он был какая-то глыба грязного снега, в которой ничего нельзя было разобрать. Сам он был велик и толст, но лицо у него казалось еще более всего туловища... не было на нем ни следа мысли, ни знака жизни. Свиные глазки тонули на нем, ничего не выражая». Далее Лесков язвительно излагает гимназический апокриф, повествующий о том, будто нелепая «косица» надворного советника Ивана Степановича Саренко, берет начало... от «очень хорошего, густого» хвоста, якобы растущего у педагога известно откуда, его-то Саренко и укладывает «кверху вдоль своей спины и конец его выпускает под воротник и расстилат по черепу». В романе нет ни одного доброго слова об этом преподавателе русского языка, окончившем этико-филосовский факультет Харьковского университета и имевшем знак «20 лет беспорочной службы». «Да как же это надо было обидеть Николашу Лескова, чтобы тот назвал одного их самых несимпатичных героев своего повествования реальной фамилией?» — восклицает Ашихмина. Вопрос риторический. До появления в гимназии Брюханова Саренко заведовал библиотекой. Лесков поневоле вынужден был общаться с Иваном Степановичем, и можно догадаться, какое впечатление мог произвести на мальчика подобный экземпляр, какие конфликты могли возникнуть у гимназиста Лескова с педагогом Саренко.

К счастью, не все учителя гимназии были скучными педантами, неприятными тупицами или жестокими «порунами», да и Функендорф недолго пробыл в ее стенах после случая с отрубленным ухом. Его сменил Фердинанд Поганка, и оценки по немецкому языку у Николая Лескова резко улучшились — ему новый учитель понравился, вот и старался отрок, даже уроки перестал пропускать. Поганка, в пику фамилии, был добр и справедлив, да к тому же обладал целым букетом столь милых сердцу Лескова безобидных

странностей, «подаренных» впоследствии одному из персонажей романа «Некуда»: «...сидит на зеленой муравке человек лет двадцати восьми или тридцати; на нем парусинное пальто, такие же панталоны и пикейный жилет с турецкими букетами, а на голове ветхая студенческая фуражка с голубым околышем и просаленным дном. Это кандидат юридических наук Юстин Феликсович Помада. Наружность кандидата весьма симпатична, но очень непрезентабельна: он невысок ростом, сутул, с широкою впалой грудью, огромными красными руками и большою головою с волосами самого неопределенного цвета. Эта голова составляет самую резкую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у него постоянно как будто падает и в этом падении тянет его то в ту, то в другую сторону, без всякого на то соизволения ее владельца». С ботанизированной через плечо и сачком, на манер профессора Паганеля (отсыл к жюльверновскому чудаку или наоборот?), Поганка часами бродил по орловским окрестностям, собирая гербарии, изучал природу Орловского края, и по ходу дела, должно быть, не раз с ним случались казусы вроде этого: «Как только кандидат Юстин Помада пришел в состояние, в котором был способен осознать, что в самом деле в жизни бывают неожиданные и довольно странные случаи, он отодвинулся от мокрой сваи и хотел идти к берегу, но жестокая боль в плече и в боку тотчас же остановила его. Он снова обхватил ослизшую, мокрую сваю и, прислонясь к ней лбом, остановился в почти бесчувственном состоянии. Платье его было все мокро; он стоял в холодной воде по самый живот, и ноги его крепко увязли в илистой грязи, покрывающей дно Рыбницы. На небе начинало сереть, и по воде за клубился легонький парок. Помада дрожал всем телом и не мог удержать прыгающих челюстей; а в голове у него и стучало и звенело, и все сознавалось как-то смутно и неясно. Бедняк то забывался, то снова вспоминал, что он в реке, из которой ему надо выйти и идти домой. Но тут, при первой же попытке вывязать затянутые илом ноги, несносная боль снова останавливала его, и он снова забывался. Наконец кандидат собрал свои последние силы и, покидая сваи, начал потихоньку высвобождать свои ноги. Мало-помалу он вытянул из ила одну ногу, потом другую и, наконец, стиснув от боли зубы, сделал один шаг, потом ступил еще десять шагов и выбрел на берег.

Ступив на землю, Помада остановился, потрогал себя за левое плечо, за ребра и опять двинулся; но, дойдя до моста, снова остановился. Оглянув свой костюм и улыбнувшись, Помада проговорил: — Как есть черт из болота, — и, вздохнув, поплелся по направлению к дому камергерши Меревой».

Убежденный холостяк и аскет⁶, он дружил с такими же «корнишонами», как тогда называли сегодняшних «ботаников», — несколько инфантильными романтиками, мечтавшими о «прекрасном будущем»: учителями Орловской же гимназии Валерияном Варфоломеевичем Бернатовичем и Юлианом Ивановичем Брюхановым. Ко всем троим с полным правом приложима характеристика Зарницына и Вязмитинова из романа «Некуда»: «Все это были люди свежие и неустанно следящие и за наукой и за литературой, и притом люди, добросовестно преданные своему делу». О Бернатовиче позже; Брюханов же хоть и не вел латынь в классе Лескова, о нем далеко шла добрая слава. Юлиан Иванович Брюханов окончил Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге со степенью кандидата, стал реформатором преподавания латыни: в 1860-61 годах выступил с обоснованием новой программы изучения древнего языка. После продолжительной письменной дискуссии на самом высоком научном уровне Харьковский университет и Совет при попечителе Харьковского учебного округа одобрили предложенные им изменения. Жаль, что не Брюханов учил Лескова: у титулярного советника Дмитрия Венцевского Лесков едва вытягивал латынь на четверку, потому что по прилежанию имел «пару» — уроки Венцевского он прогуливал особенно охотно. В ноябре 1846 года Брюханов составил для гимназической библиотеки «исторический и систематический

⁶ Многие педагоги гимназии жили в вынужденном celibate: жалованья не доставало, чтобы содержать семью. Оклад старшего учителя Бернатовича составлял 100 руб. в год, если разделить на 12 месяцев выходит самый «минимум минимум», а Поганка с Брюхановым получали и того менее. Но им больше и не было нужно: «Все это вздор перед вечностью», — отвечал Юстин Помада указывавшим на его прохудившийся сапог или лопнувший под мышкой скютук.

каталог», получив благодарность от Управляющего Харьковским учебным округом князя Долгорукова за образцовое содержание библиотеки, где Николай Лесков был частым гостем. Юный прогрессивный наставник — на момент появления Брюханова в Орловской гимназии весной 1844 года ему было всего 25 лет — конечно же, привлекал сердца детей: носитель новых «веяний», «герой нашего времени»! И хотя реальное геройство Брюханов проявил лишь в сентябре 1858 года, вместе с другими педагогами самоотверженно спасая имущество Орловской гимназии от пожара, (к этому времени Лесков уже давно покинул стены училища), склонность Юлиана Ивановича к героизму проявлялась и ранее. Лесков дал его имя одному из самых симпатичных персонажей в «Некуда» — эдакому сплаву Юлиана Брюханова и Фердинанда Поганки. Елена Ашихмина видит в Брюханове, Поганке и Бернатовиче прямые прототипы, и тут с нею не поспоришь: «Описывая в «Некуда» двух «прогрессивных людей уездного города», Лесков, безусловно, дает портреты Зарницына и Вязмитинова. Один из них, Зарницын, невысок ростом, с розовыми щеками и живыми черными глазами. «Он смотрел немножко денди». Кстати, Зарницын у Лескова был учителем математики! Другой, «напротив, был очень стройный молодой человек с бледным, несколько задумчивым лицом и очень скромным симпатичным взглядом. В нем не было и тени дендизма. Вся его особа дышала простотой, натуральностью и сдержанностью». Петербуржец Брюханов, вышедший из семьи придворных служителей, окончивший столичный вуз, — да не смотрелся ли он в Орле «немножко денди»?..

Но в целом образы героев этого романа, конечно, собирательны, например, Юстин Помада обрел польские корни Бернатовича: «Как известно, польское восстание 1830-1831 года затрагивало Волынь, а Бернатович был волынянином. Герб Модалии Бернатовичи получили от польских королей. Двойные имена отца и дядьев Валериана — Николая-Фортуната, Варфоломея-Михаила, Федора-Викентия и Мартина-Кастана — также говорят о его польском происхождении. Как знать, какое влияние освободительные идеи оказали на Бернатовича, подростком встретившего восстание на Волыни, — сообщает Ашихмина. — (...) После восстаний наказанных поляков переселяли в центральные

области России». Сравним ее разыскания с лесковским рассказом о предках Помады: «Юстин Помада происходил от польского шляхтича Феликса Антонова Помады и его законной жены Констанции Августовны Помады. Отец кандидата, прикосновенный каким-то боком к польскому восстанию 1831 года, был сослан с женою и маленьким Юстином в один из великорусских губернских городов». Кроме «польского следа», Лесков легко вплетает в биографии Помады, Вязмитинова и Зарницына подлинные факты из жизни Поганки, Бернатовича и Брюханова.

Однако, по убеждению всех исследователей жизни и творчества Николая Семёновича Лескова, наиболее сильное и глубокое влияние на его мировоззрение оказал учитель Закона Божьего протоиерей Ефимий Андреевич Остромысленский — педагог, духовный мыслитель, друг семьи Лесковых. Он был неординарной личностью. Для своего окружения и времени разносторонне эрудированный, умный Остромысленский частенько, пожалуй, слишком «остро мыслил»: вспомним, как Лесков шутит по его поводу в «Грабеже»: отец-де Ефим, который «из духовных магистров», «если проповедь постарается, никак ее не постигнешь». В шутке этой — только любовь и ни капли чего-то дурного. Лесков глубоко уважал и ценил своего духовного наставника, называя его «мой превосходный законоучитель». Высоко ставили Ефимия Андреевича и городские власти: в апреле 1861 года Остромысленскому было поручено произнести похвалу А. П. Ермолову в Крестовоздвиженской церкви перед захоронением генерала на Троицком кладбище. Протоиерей Илья Ливанский, действительный член Орловской Ученой Архивной комиссии, называет Остромысленского «знаменитым» — и это верно, его знали и уважали далеко за пределами Орла и даже в обеих столицах; почитают отца Ефимия и в наши дни, ведь поднятые им вопросы и проблемы до сих пор не утратили актуальности. Благодаря исследованиям литературоведа Р. М. Алексиной и сохранившимся в Государственном архиве Орловской области документам Орловской гимназии об Остромысленском известно, что родился он в 1803 году в Орловской губернии в семье священника, окончил ту же духовную семинарию в Севске, что и отец Лескова. Там, очевидно, он и подружился с Семёном Дмитриевичем, хотя после семинарии

их пути резко разошлись: потомок старинной «династии левитов» Лесков «пошел по штатской», а Остромысленский поступил в Киевскую духовную академию. Еще студентом он написал сочинение «Исследование киевской церкви св. Илии, упоминаемой в договоре великого князя киевского Игоря Святославовича с греками 954 года, сохраненном в летописи преподобного Нестора», за которое был удостоен премии графа Н. П. Румянцева. Выпущенный в 1829 году из академии со степенью магистра, Остромысленский занял место профессора орловской духовной семинарии и рукоположен во священники Покровской церкви в Орле. Вскоре он уже протоиерей, настоятель кафедрального собора, законоучитель орловской гимназии, а затем и Орловского кадетского корпуса. Отца Ефима любили все: взрослые и дети, богачи и бедняки, аристократы и юродивые, светские и духовные. Он написал трогательные «Воспоминания о высокопреосвященном Филарете, митрополите киевском и галицком»; пытался улучшить бедственное положение сельской поповки, предлагая способы к улучшению в статьях «Обозрение источников и средств к улучшению быта сельского духовенства» и «О средствах к призрению бедных духовного звания»; ратовал за поголовную грамотность населения в статьях «Об образовании сельского простонародья» и «О средствах к воспитанию детей духовного и крестьянского звания». В единодушной любви к отцу Ефимию был явлен пример редкостного единения мнений. Трудно было не любить этого человека: он обладал многими талантами, был умен, прекрасно образован и при этом добр «до бесконечности»⁷. В 1841 году Остромысленский написал «Слово

⁷ Лучшей характеристикой душевной чистоты и доброты отца Ефимия является то, что именно в его доме по приезде в Орёл останавливался настоятель Болховского Троицкого Оптина монастыря, основатель Алтайской духовной миссии преподобный Макарий (Глухарев) — «голубиная душа», впоследствии причисленный к лику святых, уже и при жизни известный высокими духовными качествами и даром прозорливости. Остромысленский оставил потомкам «необычайно живые восторженно-прочувствованные воспоминания о первоапостоле Алтая» (СПб. 1841 г. «Современник». «Архимандрит Макарий, Алтайский миссионер»).

к воспитанникам гимназии о свойствах истинной мудрости» — и воплощал свое «слово» в дело каждодневно. На уроках отец Ефим не придерживался традиционной формы опроса, а запросто беседовал с учениками на важные темы; «разрешал воспитанникам многое такое, что запрещали другие педагоги, и делал это без ущерба как для авторитета Закона Божьего, так и для своего собственного». Дети относились к отцу Ефиму с любовью и доверием: после урока они непременно выстраивались в очередь, чтобы спросить благословения и совета у доброго батюшки.

Остромысленский обладал мягким чувством юмора. В воспоминаниях «старого орловца» Николая Кулябки, однокашника Лескова, приведен эпизод, повествующий о том, как некий озорник, не выучивший задание, решил отвлечь законоучителя уводящим в сторону вопросом:

— Отец Ефим! А правда, что в Севском уезде нашли мощи Иисуса Христа?

Остромысленский не стал возмущаться, а от души расхохотался, смеялся и нерадивый шалун, которому товарищи тут же подсказали, что мощей Христа быть не может — Он ведь воскрес. Отец Ефим блестяще знал Священное Писание. Кулябка рассказывает такой случай: однажды директор кадетского корпуса повел воспитанников проститься с преосвященным Смарагдом, отбывавшим в Святейший Синод. Кадеты по очереди подходили под благословение архипастыря, и когда к Смарагду приблизился маленький воспитанник 2-й роты Аргамаков с необычайно яркими рыжими волосами, в его преосвященстве взбрыкнул его непредсказуемый «петуший» нрав — он с подвохом глянул на Остромысленского и спросил: «Отец Ефим, а какие волосы были у Иисуса Христа?» Ефимий Андреевич мгновенно ответил: «Орехового дерева — так сказано в Писании».

Многие литературоведы считают, что именно отец Ефимий, а не дед Лескова по отцовской линии увековечен в образе Савелия Туберозова; он же стал прототипом «добрых батюшек» в «Звере», «Пугале», «Запечатленном ангеле» и других произведениях. Да и веротерпимость, проявляемая героями Лескова — отшельником Памвой, отцом Кириаком и архиереем в повести «На краю света», — была заложена в будущем писателе Ефимием Андреевичем.

Позднейшие исследования Лескова по вопросам раскола, в частности молоканства, во многом основывались на работах Остромысленского. В конце 1870-х годов отец Ефимий оставил службу и поселился на принадлежащем ему хуторе в Орловской губернии, где продолжил обширный труд о молоканской секте, начатый еще в его ранней статье «Разговоры священника с молоканом». Закончить эту работу помешала смерть: Е. А. Остромысленский скончался 30 марта 1887 года.

И все-таки личностей, подобных Брюханову, Поганке, Бернатовичу и Остромысленскому, среди учителей Орловской гимназии было раз-два и обчелся, основной коллектив педагогов вызывал у учеников страх и отбивал желание учиться.

Андрей Николаевич отцовское отвращение к школьной поре понимал, но как создатель семейной саги, был, разумеется, недоволен постоянными отказами Николая Семёновича «повспоминать» годы учения. Оттого, очевидно, глава, посвященная пребыванию Лескова-старшего в Орловской гимназии получилась у него гораздо более краткой, чем другие: «Он явно опасался (...) остро досадительных ему вопросов о школьных его успехах. Спрашивать о том, о чем сам он не охоч был говорить, — семейным, тем паче младшим, не надлежало. Этого и держались». Однако орловские лесковеды разыскали некоторые бесценные документы, упущенные вниманием А. Н. Лескова. Из них становится ясно: хотя Николай Семёнович утверждал, что в гимназии «скучал ужасно, но учился хорошо», только начальные классы дались ему сравнительно легко, потому как «подготовка к гимназии была обстоятельная»: в Панине исключенный из семинарии дьяконский сын дал мальчику понятие о латинских склонениях и в целом подготовил к поступлению, дабы тот не явился в учебное заведение «совершенным дикарем, которого способны удивить грамматика Беллюстина и французская — Ломонда». Так и хочется продолжить цитирование А. Н. Лескова, возмущавшегося небрежностью его деда к воспитанию будущего писателя: «...почему не учил сына латыни, да и всему прочему, сам «отменный «классик»», успешно прошедший полный курс семинарии — родной отец, которому Гораций Флакк был интереснее грамматики Беллюстина»? Простим же Андрею Николаевичу

его горячность: то, что бывший семинарист передал «право научения» своего первенца азам знания такому же семинаристу-недоучке, много говорит о тогдашнем душевном состоянии Семёна Дмитриевича: Гораций Флакк, может, и интереснее Беллюстина, однако любящий родитель, не находясь он в состоянии непреходящей депрессии, конечно, предпочел бы заниматься с сыном, а не сбегать от мира в мертвые переводы. Возможно, если бы отец был неравнодушен к его успехам, Николаша гораздо охотней и терпеливее грыз бы гранит науки и окончил-таки гимназию — было бы для кого стараться, было бы кому им гордиться... Но даже в редкие приезды домой — «в год три раза: на летние каникулы, на Святки и на Страстной неделе с Пасхой» — никто особенно его жизнью в Орле не интересовался.

Основы деревенской подготовки быстро исчерпались. 1845/46 учебный год стал для Николая Лескова критическим. В Государственном архиве Орловской области сохранились классные журналы и ведомости успеваемости орловских гимназистов той поры. Надо признать, хорошие оценки в них вообще встречаются нечасто: четверки и редкие пятерки педагоги жалуют лишь Александру Бабухину, будущему ученому-эмбриологу, основоположнику отечественной гистологии, а также сыну одного из преподавателей гимназии — Петру Кулябке. Оценки Николая Лескова плоховаты: у преподавателя математики, надворного советника Василия Петрова Лесков имеет тройку по «высшей части математики», кол за прилежание и пять по поведению. Тот же расклад у ближайшего приятеля Лескова — Саши Жданова.

По прежней системе преподаватель выводил учащемуся не единую совокупную оценку, а три разные: за способности и знания, за прилежание, то есть стремление добиться успеха в обучении, и наконец — за поведение. Оценки Лескова по математике имели неприятную константу: как поселилась в журнале против его имени троечка за знания в сентябре 1845 года, так и проторчала она там до апреля 1846-го. До Петрова математику вел старший учитель В.М. Бернатович, пришедший в гимназию одновременно с Брюхановым. Он сумел привить любовь к «гармонии чисел» не только врожденным технарям вроде Бабухина и Краевича, но и чистому гуманитария Лескову.

К сожалению, вскоре Бернатович тяжело заболел и вынужден был оставить преподавательскую деятельность. Но и краткое влияние Бернатовича на детей имело глубокие положительные последствия: Лесков, конечно, не решил связать свою жизнь с математикой, но Бернатович, как Брюханов и Поганка, был из той породы ярких, умных и чистых душой людей, к которым писатель всегда питал жадный интерес, любовно «коллекционируя» их для своей когорты праведников.

Утрата любимого учителя повлекла утрату интереса к предмету: даже Бабухин у Петрова скатился на четверки, а по прилежанию и вовсе на тройки. Высшие баллы за прилежание Петров жаловал лишь Горбунову, Карпову и — надо же, вот неожиданный сюрприз — снова сыну учителя той же гимназии Петру Кулябке. У прочих — сплошные двойки и колы. «Лесковская тройка в этом контексте смотрится не так уж и безнадежно», — совершенно справедливо заключает свои разыскания Е. Н. Ашихмина.

Дурные оценки объяснялись просто: Лесков со Ждановым прогуляли уроки по математике и физике в декабре 1845 и январе 1846 года. Оба не были, например, на теме «Центр тяжести простыя машины: какъ-то рычагъ, блокъ и наклонные плоскости», и оба же так и не узнали, что такое «Двойные преломления, дифракция и поляризация света; простой и складной микроскоп». Жданов хотя бы попытался вникнуть в объяснения Петрова по поводу «Свойств треугольника в рассуждении его боков и верхнего угла треугольника», Лесков же опять «блистательно отсутствовал»!

В марте на уроках математики Лескова снова нет: он «учится праздновать». Может быть, гуляет по ярмарке, где сверкает на солнце весенний воздух, зазывно кричат в толпе продавцы сластей и клубящегося паром сбитня, хохочут румяные крестьянские девушки, под бодрые звуки духового оркестра пожарной части прицениваются к товарам нарядные мещанки. Или задумчиво бродит в городском саду на Монастырке, где из набухающих березовых почек, дразнясь, чуть высовываются остро-зеленые язычки листьев, — вспомним, как он позже опишет ощущения молодого Флягина: «Весной он жадно вдыхает запах только что распустившейся листвы берез, окаймляющих дорогу, по которой летит его тройка». А может, гуляет

по обновляющимся после пожара улицам — в 1847–1849 годах проводились значительные работы по благоустройству города: рабочие переложили мостовые на Ильинской площади, на Московской и Новосильской (ныне Пушкина) улицах, замостили новые мостовые, в частности от Петропавловского собора к Кадетскому корпусу; заменялись старые фонари, чинились мосты, Московские ворота и каменный мост к Архиерейскому дому. А может, мальчик пригрелся у живописцев, оформляющих только что отстроенную заново церковь святого Никития, и они, рисуясь перед нежданным слушателем, раскрывают ему «секреты мастерства» и «келейные тайны», которые Лесков выложит впоследствии в «Мелочах архиерейской жизни»: «Когда в Орле, в дни моего отрочества, расписывали церковь Никития и я ходил туда любоваться искусством местных художников, то один из таких, высоко разумея о своем даровании, которое будто бы позволяло ему «одним почерком написать двенадцать апостолов», говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду на цепь к Иуде Смарагда⁸, и что он будто бы это отлично исполнил. Сходства, говорит, лишнего не вышло, а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр Ефратович».

Продолжение следует.

⁸ Смарагд (Крыжановский) — в то время орловский архиерей.